

СМЕРТЬ ХУДОЖНИКА

Даже когда за широким больничным окном весна – тяжёл сон в пятиместной палате. Терпеливый дедок с одной почкой и неизменной бутылочкой на боку, в которую по прозрачному шлангу сочится мутноватая жидкость, если не травит анекдоты, то обычно тих. Скоро ему промыть пузырьёк будет некому – сосед справа, который за ним ухаживает, молодой шоферюга из райцентра Мантурово с кавказской фамилией – подарок солнечной Грузии – собирается на выписку. Однако ещё не знает, что спокойной жизни ему осталось до завтрашнего дня: свезут в операционную, вырежут отмершую почку – «менты отбили» – и почти сутки он будет отходить от наркоза и потрясения: до того неожиданно всё случилось. Только скрип зубов и глухие маты будут доноситься с его койки вместо привычных бодрых присказок утром после взгляда через окно на распускающиеся в больничном сквере берёзки и зелёную траву: «И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева...». Теперь и ему жить с пузырьком на боку. Лежа у окна тоже с неотвязным пузырьком, Игорь читает роман Хемингуэя «По ком звонит колокол». Игорь, завсегда палаты, регулярно ложится в урологию на поправку, с ним привычно здоровается вернувшаяся из отпуска санитарка Марь Пална, с носом-бульбочкой на круглом простом лице, приземистая, перетянутая по литой талии поясом поверх больничного халата. Её зычный – на все три этажа – голос уже откатался по коридорам: «Разве дети проживут на тыщу? Сказала им: вот вам, мои хорошие, мое золотое слово – берите огород. Не берут, ленивые». А теперь она идёт «генералить» своей титанической шваброй, похожей на виселицу, помещения перед приходом какой-то таинственной комиссии, которую ждут пятый день... Игорь морщится и про себя клянёт Марь Палну за её пылкое рвение и за ту деловую суматоху, что всегда поднимается с её появлением.

Рядом с пациентами нашей палаты, резаными и штопаными, каждый из которых как бы ранен разрывной пулей, сам себе я кажусь задетым мелкой дробинкой.

Вот сдали анализы, вот кто мог, сходил на завтрак, вот миновали процедуры и уколы, и можно было и опять в койку, если бы не угроза Марь Палны «отгенералить» полы: самое время сбежать на перекур на прогулочной площадке.

На выходе из палаты в коридоре увидел окружённого женщинами человека на каталке. Он лежал на боку одетым, его шляпа показалась мне чем-то знакомой. Из разговоров с Игорем выходило, что у парня с койки у двери – страшного

чистюли, каждое утро плескавшегося над маленькой палатной раковиной, раздетым до пояса – по анализам было всё в порядке, а на его место клали какого-то Степаныча, давнего знакомого Игоря по урологии. Оказалось – на каталке лежал художник Михаил Степанович Шорохов.

Мы тоже были знакомы по сборам на традиционную ветеранскую уху в день Победы у общего знакомого. Шорохов был фронтовиком, артиллерийским офицером и, как опытный рыбак, обеспечивал встречу рыбой. После той последней ухи прошло более года, от общих знакомых я слышал, что Михаил Степаныч очень плох: неугомонный рыболов, он часто простывал, запустил болезнь и теперь – после нескольких тяжёлых полостных операций – на глазах выбаливала его физическая оболочка...

Он весь как-то высветлел, кожа лица и благородной лысины приняли оттенок отлежавшейся слоновой кости, светло-голубые глаза его попрозрачнели до последней степени истаивающей на ладони льдинки. Вообще его лицо в эти последние дни жизни стало скорбно-красивым, по-стариковски величественным.

Признаюсь: к старым людям во мне всё чаще возникает сыновье чувство, и в каждом старике непроизвольно отыскиваю черты своего покойного отца, и хотя Степаныч – так я стал его называть про себя – не был похож на него ни внешностью, ни характером, ни биографией, и несмотря на то, что написать о Степаныче надо было бы о живом и здоровом, однако, что же делать, если случай свёл нас на несколько дней в больничной палате незадолго до его кончины – тороплюсь сказать о нём вдогон по этому чувству... Всегда тяжело день за днём видеть угасание физической мощи человека, умаление его плотской силы – а ведь по запасу сил и по количеству жизненной энергии срок жизни Степаныча далеко ещё не был окончен, и только небрежение к болезни, его равнодушие к недугам привели его сюда. Болит порезанный палец, и даже эта небольшая боль угнетает психические силы человека и его дух – Степаныч же был весь изрезан и, несмотря на муки, держался с достоинством и лишь изредка ночью под разнокалиберный палатный храп или в коротком забытии днём позволял себе немного постонать. Дух его не был сломлен.

...На мои осторожные расспросы о здоровье Степаныч вспомнил эпизод из книги пророка Иезекииля: «И плоть выросла, и кожа покрыла сверху...» – и развёл руки, как бы демонстрируя, что нарастать плоти не на чем, да и плоти уже нет.

Тем не менее от перемены обстановки он взбодрился, с аппетитом напился тем, чем покормила его дежурившая у постели жена Мария Александровна, и до того, как его одолела обычная послеобеденная болезненная икота, благополучно подремал. Вернувшись с очередного перекура, я обнаружил его напротив

мантуровского «грузина», который слушал его речи, разинув рот. Я тихонько присел на свою койку, послушал тоже. Трубка выскочила из стоящего на полу пузырька, но Степаныч, не замечая этого, читал по памяти нечто, что мне, литератору, на слух показалось яркой художественной прозой с богатыми выразительными деталями и признаками явной стилистической изощрённости. Я и раньше слышал, что Степаныч пишет что-то вроде дневников, а в ответ на наши просьбы «предъявить» тексты махал рукой: «После...» Курским писателям довелось впоследствии увидеть эти затёртые страницы на желтоватой бумаге – тексты ещё нужно было расшифровывать и едва ли не по строчкам переводить «в машинку». Значит, Степаныч держал все свои рукописи в памяти и в любую минуту мог воспроизвести каждую страницу наизусть.

Но не только собственное он держал в своей богатой памяти. Не один раз я удивлялся ей, хранящей десятки страниц чужих произведений, множество сведений по истории, наукам и искусствам, удивлялся не только его феноменальной начитанности – помнил всю Библию! – но и рассудительному и точному мнению о множестве вещей. Мария Александровна объяснила этот талант старообрядческим происхождением Степаныча: в таких семьях ревностно относились к грамоте и считали обязательным знание священных книг.

Потянулся серый казённый быт. Менялись санитарки, приходили студиязусы-практиканты, медсёстры, лаборанты, врачи. Жизнь Степаныча сузилась до небольшой площадки вокруг больничной кровати. Мария Александровна умывала его над тазиком, протирала руки салфетками, а он пошучивал: «Вот бы на этом пяточке удалось бы и душ принять». Нехотя отправлялся в длинное хлопотное путешествие на рентген: заботой было перебраться сперва с койки на каталку, в рентгенкабинете – с каталки на стол, потом обратным порядком в койку. Профессор, который Степаныча наблюдал, обещал применить дорогой препарат, дабы «разбудить» вторую – уснувшую – почку, но уж, наверное, ни он, ни Степаныч, и никто другой не верили в успех такого предприятия. В чём Степаныч допускал небольшую слабинку – при заборах крови на анализы. Он мучился, угасал и расстраивался при одном появлении лаборантки и едва ли не жалобно уговаривал её: «Нельзя ли обойтись? Который раз у вас лежу, и одни и те же анализы. Ведь крови у меня и так мало осталось». Рентгеновский снимок не получился: контрастное вещество ввели, а снимок вялый оказался, и нужно было опять отправляться в проклятое путешествие по коленам коридора и через порожки лифтов. Степаныч вздыхал, безропотно перегружался на каталку и сетовал: «Как бы я хотел всех избавить от этих хлопот». – «Что поделаешь, если не получилось», – утешала его жена, сама врач, и Степаныч покорно соглашался: «Они не виноваты».

При перевязках обнажался его живот с жуткими карманчиками и пазухами в брюшине, откуда вытаскивали какие-то салфетки и меняли на другие. Степаныч переносил перевязки, промывки и прочие процедуры – а они, видимо, доставляли непереносимые страдания, так что и глаза его заплывали слезой – по-солдатски, не издавая ни звука. При том, что он понимал, конечно, что дни его сочтены, ни в отношении близких – жены и трёх дочерей, по очереди и днём и ночью дежурящих у его постели – ни в отношении однопалатников и врачей не разрешал ни раздражения, ни неосторожного слова и оставался постоянно ровен. Это говорило не только о его личном стоицизме, но и о внутренней культуре, о врождённом уважении к другому человеку, которому, может быть, хуже, чем ему самому. Здоровому нетрудно оставаться равно благожелательным ко всем, но больной каждый раз должен искать новые силы для этой ровности.

Больничное бытие предоставляло и свои маленькие радости, которым Степаныч отдавал должное. «Вот вернёмся с рентгена, можно будет поесть, чего душа примет, – говорил, благодушествуя, терпеливо и ласково улыбающейся ему жене. – И слава Матери Марии, яко же Спаса нам родила». Слушал по радио новости нашей так называемой «общественной жизни», доставал с тумбочки Достоевского – кажется, том с «Дневниками писателя» – и в редкие минуты, когда боль была терпима, перечитывал, лежал молча, раздумывая. Мысль его работала и в промежутках между приступами боли. Бывало, снова воодушевлялся и тогда читал всей палате что-то вроде лекции о событиях.

Однажды ни с того, ни с сего рассказал о том, как зашёл по каким-то делам к знакомым художникам, что расписывали церковь, те пригласили выпить и закусить. «Чего ж я буду отказываться, я неверующий». Посидели, поговорили и, уже попрощавшись, Степаныч взялся за ручку двери и сказал им всем: «Гады вы!» Дескать, с чёртом водись, а Бога не забывай, и нельзя кощунствовать в святом месте. У Степаныча с его неповторимой интонацией и низким, как бы подсаженным голосом, получилось сочно: «Х-хады!» И ушёл – как будто созоровав, но в то же время и своё «отношение» выразил.

С энтузиазмом обсуждал с дочерью, какие картины приготовить к показу на выставке: «Белинский» у нас в Пензе, что-то можно взять из музеев, а ту картину, что в гостинице висит, будь я в силах, переписал бы». В один из дней дочери принесли цветные переснимки его работ, пустили по палате. Нужно сказать, несколько картин Степаныча мне приходилось видеть у знакомых, но на репродукциях, пожалуй, были все его значительные работы: натюрморты, портреты, жанровые картины.

Был портрет Белинского – Степаныч трепетно относился к этому философу литературы и критику – был натюрморт с жаркими цветами у окна, где в косом куске зеркала отражалось лицо самого художника, как бы заглядывающего в этот мир из потустороннего райского бытия: картина была написана с предчувствием своего ухода, как это особо остро свойственно чувствовать художникам; ещё цветы и ещё. Вообще цвет этих его последних картин казался по-молодому ярким и насыщенным и дело не в том, что машинка для фотографирования исказила цвет в сторону большей яркости, нет – сами картины и весь масляный слой так излучали его.

Сам я немного мазюкаю тушью по бумаге, но думаю, что красота цвета от меня не закрыта, и я не преминул им восхититься.

Степаныч снисходительно хмыкнул: «Я же художник, и говорят – не из последних». И он довольно задремал со сложенными на животе руками, пальцы которых продолжали пошевеливаться и во сне.

Правая рука Степаныча была развита несоразмернее левой: на ней, кажется, были видны каждая жилка и каждая мышца. Художник ведь сначала мастеровой по-деревенски: пилить, строгать, точить, натягивать холстину на подрамники, а уже потом грунтует, пишет и прописывает, и всё одной рукой. За свою жизнь художник, вероятно, прописывает и прорабатывает квадратные километры холста. Мысль эта меня надолго заняла, и потом я часто незаметно для Степаныча разглядывал его руку.

Вечерело. В коридоре вновь зычила Марь Пална: «Никогда никому зад не лизала: на стройке двадцать пять лет и – здесь», значит, идёт опять «генералить». Появилась в палате со жгучим желанием перемыть все тумбочки и панели. Степаныч с грустью посмотрел на неё, попробовал урезонить: «Вы же и так сегодня много сделали, Марь Пална, кто же будет проверять ещё и ваши тумбочки?» Марь Пална выхватила из чьей-то тумбочки верхний ящик и всем предъявила клочок бумажки в нём и несколько завалящих таблеток: «Это что? Старшая сестра посмотрит: "Так ты мыла мебель, старая собака?" А что я ей скажу?»

Игорь вздохнул и отправился дочитывать Хемингуэя в конец коридора, я скрылся в долгом перекуре. Часа три неутомная наводила чистоту, потом ещё принялась и за полы.

Дочери принесли медаль и часы, которые раздавали ветеранам перед очередным победным маем. Степаныч часы надел и медаль приколот на халат: «Пускай повисит». Стал говорить об ошибках в одной исторической статье, где князь Барятинский считался едва ли не победителем Шамиля: «Некий полковник

русской армии в беседах с вождём Кавказской войны склонил его к сдаче в плен. Куда было деваться старику, ведь сын Шамиля учился в Петербурге и был офицером русской же армии?» Сдача Севастополя англо-французским войскам в Крымской кампании была предотвращена на другом театре военных действий, когда генерал Муравьёв одним броском взял город Карс, находившийся под английским влиянием, и военные инициировали свои правительства на оставление Севастополя в обмен на множество английских пленных.

Однажды стал рассказывать, как Льва Толстого отлучали от церкви. Указ Синода по каким-то причинам не ввели в действие, но уже поторопились «отметиться» в Тазовской церкви под Курском, где Толстой был изображён на фресках горящим в геенне. Степаныч рассказывал об этом случае с явной обидой за великого писателя, но мне виделось здесь не столько «мракобесие», сколько последовательность церкви. Я пытался возразить Степанычу: одно дело, если Лев Николаевич восставал против частных случаев ханжества церкви, которую другой русский писатель, немало писавший о церкви, – Лесков – называл «духовно-полицейским учреждением», но если бы Толстой был искренне верующим – что ему «учреждение»? Верил – и веруй. Однако в отрицании церкви он дошёл до отрицания веры, а ради чего же тогда сочинял собственное евангелие, с кем и в чём хотел посоревноваться? С церковной точки зрения речь шла о явной гордыне, если не о лукавстве, и естественно, что церковь выразила своё отношение к «факту» и потом признала великого – «позднего» – писателя и грешника отпавшим от православной церкви.

Степаныч замолчал и непримиримо замкнулся. Моих аргументов он не принимал и не понимал. Титан и проповедник Толстой – а там какое-то вселенское заблуждение, церковь, созданная для обмана людей. Ведь римская власть сперва гнала первохристиан и травила их львами во рвах, но потом пришла к убеждению, что рабам необходима «хитрая», утешающая их религия, и приняла христианство как средство закабаления.

Мне и раньше приходилось замечать за людьми, выросшими после гражданской войны в атеистической пустоте, убеждённое и во многом прямолинейное противостояние религии как феномену идеализма, а не феномену культуры. В их филиппиках против церкви слышалось что-то марксистское, емельнярское в то время как на самом деле они идеализм порицали не столько за то, что он не может стать материализмом, сколько из чаяния святости вообще, которой – так уж устроено среди грешных людей – не только церкви недостает, но в самой жизни мало: а чем меньше святости, тем она желаннее.

Перед сном Степаныч собирался на «дачу». Облачался в длинный халат, надевал на голову синюю фетровую шапочку вроде мурмолки, брал трость и в сопровождении Марии Александровны отправлялся в коридор. Лежал на койке в коридоре, где в отличие от затхлой палаты протягивало сквознячком. Потом неторопливо прогуливался, садился на стул в фойе и, опершись подбородком о трость, созерцал коридорные дебри и больничную, затухающую перед сном жизнь, поглядывал на Марь Палну, «генералившую» цветы на подоконниках фойе, слушал, как она, протирая тряпочкой листья в горшках, разговаривала с ними: «Совсем ты, милый, засох, никто тебя не поливает. А ты ещё ничего, крепкай. Заставили вот с утра «генералить», теперь хоть посидеть можно».

Она действительно садилась на дерматиновый диванчик рядом со Степанычем, вытянув ноги в калошах к метровой перекладине швабры с клеёнчатой биркой на тряпке – после её уборки в коридоре ещё досыхали лужи – а у ног лежали огромные резиновые перчатки, похожие на мотоциклетные краги.

Трудно было представить себе, что наступит такая минута, когда Марь Пална уgomонится, ляжет спать и не станет никому слышно её необъятного голоса: казалось, она и во сне будет так же таскать по полам швабру – будто поле боронует – и так же будет сообщать каждому встречному, как глухому: «Я всегда права, потому что за справедливость». И при чём были её правота и справедливость – никто не знал.

Наступил день, когда мантуровец начал вставать с койки, Игорь дочитал Хемингуэя и выяснил-таки, по ком звонил колокол, дедку осталось отбыть пару дней и с десятков анекдотов. Несколько времени спустя затосковал и запросился домой Степаныч.

...В могильную сень тёплым солнечным деньком Михаил Степанович Шорохов сходил под троекратный ружейный салют воинского караула, и с православным крестиком, навечно вложенным кем-то из его близких в пальцы той самой – правой – руки. Прими его душу с миром, Господи.

В Библии, в 37-й главе книги Иезекииля, я отыскал тот эпизод с воскрешением мёртвых, о котором говорил Степаныч. Господь поставил возлюбленного пророка посреди поля, полного костей, и предложил своей властью оживить мёртвых. Произошел шум, кости сблизились, «жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху». Следующим пророчеством Иезекииль вдохнул в мёртвых дух от четырёх ветров, и они ожили. Как я чувствовал это место – речь шла о бессмертии.

Наверное, не бывает смерти «хорошей» и, если бы не те мучения, которые испытывал Степаныч в последние мгновения жизни, по условности, когда человек умирает дома в своей постели в окружении кроткой жены и страдающих детей – смерть Степаныча была «хорошей». Всё это: и люди, не оставившие его до смерти, и атмосфера собственного дома, и воздух не чужбины, а родины, и мир его картин, которые заставляют вглядываться в них и думать, и в чей красочный слой «вписана» душа художника – это нажито как итог преходящего земного существования, которое всех нас как бы испытывает: что ещё в тебе было, кроме костей, жил и плоти; был ли высокий дух в тебе, с терпимостью к людям и благорасположением к свету, с пониманием ли долга и с честью ли ты изживал свой земной срок?

Мне думается о Степаныче, что он был человеком, сохранившем честь. В годину нашествия он стал воином и исполнил солдатский долг. Какими были злыми или неудобными для жизни и для мужества казались времена прошедшие, людям подобного склада удалось сохранить и свою цельность. Он был человеком истинно интеллигентской жилки, был не только по-крестьянски любопытен, но обладал широкой культурной осведомлённостью, позволяющей свободу суждений. Обладал врождённым качеством видеть в мире красоту, писал цветы, этот материализованный в предмете солнечный свет. В хороших картинах есть мистика, воздействующая на подсознание человека и незаметно изменяющая его. Среди людей остались картины Степаныча, они будут ещё долго «работать».

...Однажды одна из его дочерей в ответ на его сожаления о каких-то своих предполагаемых грехах воскликнула: «Да ты же у нас святой, папа!» Степаныч после этих слов замолчал и задумался, а я, посторонний им человек, поверил дочери – немногие из детей могут так сказать о своём отце.

И теперь мне часто будет вспоминаться неповторимое «Х-хады вы!», как его напоминание нам о необходимости соблюдать чистоту.

...Недавно перелистывал статьи Василия Розанова и в одной из них, посвященной пятидесятилетию влияния Белинского, которого так почитал Степаныч, нашёл эти удивительные слова: «Ничего не умерло в чертах его нравственного образа, и в них он несёт столько значения, что стал вечно нужным существом, "двенадцатым" гостем среди всяких 11 "пирующих" или "труждающихся и обременённых". Всякое дурное дело имеет сверх упрёка от живых-честных ещё и упрек от мёртвого, Белинского; и всякое доброе дело, сверх похвалы от живых добрых людей имеет похвалу и от него. Он – соучастник нашей жизни как нравственное лицо; он вечно жив между нами и даже более: в нём все те же "100 град. температуры", "200 ударов пульса в минуту", и он нас спрашивает: "Живы ли вы?"».